



ИЗДАТЕЛЬСТВО

ВИССОН
ИЗДАТЕЛЬСТВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2016



Пенелопа Уилкок

ВОКОЛ
и ГОЛУБЬ



Книга первая

ББК 86.37

У 36

Перевод с английского

Penelope Wilcock

THE HAWK AND THE DOVE

Originally published in English

by Lion Hudson plc,

Oxford, England.

All rights reserved.

Уилкок, Пенелопа

У36 Сокол и голубь / Пер. с англ. — СПб.: ЛКС,
2016. — 304 с.

ISBN 978-5-94861-222-5 (ЛКС)

ISBN 978-5-905913-92-5 (Виссон)

В этой книге, первой в серии романов «Сокол и голубь», переплетаются два временных плана: сегодняшняя жизнь простой семьи в восприятии девочки-подростка и жизнь монахов-бенедиктинцев четырнадцатого века, о которой рассказывает мать девочки. Незамысловатые на первый взгляд рассказы о прошлом сосредоточивают внимание читателя не на событиях, а на героях. Наблюдая, как Бог шлифует души обитателей монастыря, начинаешь понимать, что это имеет прямое отношение ко всем нам. Все люди, неважно, когда и где они родились, проходят одну и ту же школу у Бога.

ББК 86.37

ISBN 978-1-78264-139-1 (*Lion Hudson*)

ISBN 978-5-94861-222-5 (ЛКС)

ISBN 978-5-905913-95-2 (*Виссон*)

© Penelope Wilcock, 1990

© Издательство «Виссон», 2016

*Посвящается Дэвиду Боусу
с глубокой благодарностью*

Предисловие

За долгие годы, пока эта серия книг выходит в печати, многие люди успели высказаться о ней в обзорах. Чаще всего выражают противоположные мнения по поводу композиционного построения первых двух томов, так что в итоге я сочла полезным дать небольшое пояснение.

Первая книга из этой серии, «Сокол и голубь», написана в виде отдельных рассказов из жизни средневекового монастыря, которые мать пересказывает своей дочери современным языком.

И эта структура, и несколько наивный стиль изложения были выбраны мной не случайно, мне хотелось отдать дань уважения двум средневековым текстам — «Кентерберийским рассказам» Чосера и «Цветочкам святого Франциска Ассизского».

В «Кентерберийских рассказах» используется литературный прием «рамочной конструкции», а «Цветочки» представляют собой сборник коротких (не вымышленных) историй, где описывается зарождение францисканского движения, приведшего к созданию ордена.

Увлеченная стилем и структурой этих древних текстов, я решила выстроить роман «Сокол и голубь» подобным же образом. Это дало мне возможность балансировать между двумя мирами — средневековым и современным, монастырским и светским, женским и мужским. Во второй книге, «The Wounds of God», я придерживалась той же модели. А вот в следующих томах выбранные темы уже не укладывались в рамки этой конструкции, так что в «The Long Fall» и далее я от нее отказалась.

Теперь, двадцать пять лет спустя после опубликования первой книги, когда серия возвращается (в этом новом издании) после долгого и успешного путешествия по Америке обратно в Англию, где все начиналось, я подумала, не переписать ли первые два романа в обычном повествовательном стиле, который присущ остальным томам.

Но в конце концов решила не делать этого. Отчасти потому, что многим матерям понравилась сама идея семейных преданий, отчасти ради многих читателей, чья жизнь наполнена заботами и спешкой и кто был рад получить роман, разбитый на короткие главы, которые удобно читать во время обеденного перерыва или перед сном. А кроме того, я люблю святого Франциска и Чосера и весь мир Средневековья и хотела таким

образом выразить им свое признание. Наконец, я до сих пор испытываю нежные чувства к своему литературному дебюту, которым стал «Сокол и голубь». Мне кажется, в нем есть что-то от простоты Самого Иисуса.

*Пенелопа Уилкок,
февраль 2015 г.*

Община аббатства Святого Алкуина



Монахи

Брат Эдуард	<i>инфирмарий</i>
Отец Чад	<i>приор</i>
Отец Колумба	<i>аббат — известен как отец Перегрин</i>
Отец Лукан	<i>престарелый брат, упоминается вскользь</i>
Брат Джон	<i>работает в лазарете</i>
Брат Гилберт	<i>регент</i>
Брат Киприан	<i>привратник</i>
Отец Мэтью	<i>наставник послушников</i>
Брат Валафрид	<i>травник / винодел</i>
Брат Джилес	<i>помощник травника</i>
Брат Майкл	<i>помощник повара / инфирмария</i>

Брат Эндрю	<i>повар</i>
Брат Амброз	<i>келарь</i>
Брат Клемент	<i>служит в скриптории и библиотеке</i>
Брат Фиделис	<i>садовник, особенно пристрастен к розам</i>
Брат Питер	<i>заботится о лошадях</i>
Брат Марк	<i>пчеловод</i>
Брат Стивен	<i>управляющий фермой</i>
Брат Мартин	<i>привратник (сменивший брата Киприана)</i>
Брат Паулин	<i>садовник</i>
Брат Доминик	<i>гоститалий, или странноприимный монах</i>
Брат Пруденций	<i>работает на ферме</i>
Брат Бэзил	<i>престарелый брат, помогает в странноприимном доме</i>
Отец Жерар	<i>елемозинарий</i>

Послушники и постуланты

Брат Томас	<i>личный помощник аббата; кроме того, работает на ферме</i>
Брат Кормак	<i>работает на кухне</i>

Брат Теодор	<i>основная работа — переписчик и иллюстратор рукописей</i>
Брат Френсис	<i>работает в самых разных местах</i>
Брат Таддеус	<i>работает в самых разных местах</i>
Жерар Пламли	<i>позже — брат Бернард</i>
Брат Ричард	
Брат Дамиан	
Брат Джозефус	
Брат Джеймс	

Больные или престарелые братья, проживающие в лазарете

Брат Денис	<i>бывший пчеловод</i>
Отец Элред	<i>из лазарета — в этой книге не упоминается</i>
Отец Анселм	<i>из лазарета — в этой книге не упоминается</i>
Отец Пол	<i>из лазарета — в этой книге не упоминается</i>
Отец Джералд	<i>из лазарета — в этой книге не упоминается</i>

Глава первая



Мама

Жаль, что вы не знали мою маму. Помню, словно это было вчера, как в конце учебного дня я поднималась по склону холма, а там, на его гребне, стояли родители, встречавшие детей из начальной школы, где учились в том числе и мои маленькие сестры.

Все прочие матери выглядели такими пухленькими, уютными в своих скромных цветастых платицах и симпатичных босоножках на небольшом каблукe; у каждой на голове — обесцвеченные завитушки кудрей, а лицо чуть тронуте макияжем — в самый раз для «приличного» выхода на люди. Молодые, общительные

и милые, они весело щебетали, кивали и прыскали, беззлобно перемывая кому-то косточки, пока рядом в колясках вертелись их младшие отпрыски... А на самой верхушке холма, поодаль от остальных, ждала моя мама — высокая, прямая, застывшая, точно пророк. Ее длинная синяя юбка хлопала на ветру, за спиной развевались густые каштановые волосы. Рядом стояла моя сестричка-дошкольница, ее ладошка уверенно покоилась в материнской руке. Малышка всегда знала, что может укрыться в складках этой синей юбки от сурового и непонятного мира детской площадки.

Мама... Она даже не пыталась притворяться красавицей. У нее был волевой подбородок, строго сжатые губы, нос, похожий на соколиный клюв, и пронзительные серые глаза — такие, что смотрели вам прямо в душу, минуя внешнюю оболочку. Под этим взглядом вас переставали волновать пустяки вроде дырки на кофточке, развязавшихся шнурков, сбившейся прически или невымытых рук за обедом; зато начинали всерьез тревожить воспоминания о взятой без спросу конфете, неисполненном обещании или о том, как это гадко — ударить от младшей сестры, чьи короткие ножки про-

сто не успевают за вами. Мама... Убрав посуду после вечернего чаепития, она нередко стояла у мойки, опустив руки, и смотрела, как чайки чертят белыми крыльями вечернее небо. В эти минуты заботы дня оставляли ее, а задумчивый взгляд устремлялся куда-то вдаль. Тем временем мы с Терес садились за кухонный стол делать уроки, а младшие сестры бежали играть во двор. С наступлением сумерек мама звала их домой, всегда начиная с младших, купала их за занавеской на кухне, расчесывала им волосы, чистила зубы, помогала переодеться в ночные сорочки и укладывала спать.

Наступал момент выбора для меня и Терес. Дело в том, что в нашем домике, прилепившемся к склону холма у моря среди других таких же лачуг, было всего две спальни, и мы, дети, спали все впятером в одной комнате, на матрасах, расстеленных на полу. Мама терпеть не могла электрический свет — говорила, будто бы он беспокоит спящую душу и отпускает песочного человека* ; поэтому, подоткнув

* Песочный человек — фольклорный персонаж, традиционный для современной Западной Европы. Согласно поверьям, сыплет заигравшимся допоздна детям в глаза волшебный песок, заставляя их засыпать. — *Примеч. пер.*

одеяла Мэри и Бэт, затепливала в углу свечу и садилась в низкое, но удобное кресло с младшей, Сесили, на коленях. Если бы она просто ушла — начался бы полный бедлам. Сесили, не пролежав ни минутки, тут же затеяла бы возню, а девочки постарше рассорились бы из-за какой-нибудь мелочи вроде замечания «Хватит сопеть, Бэт: уснуть не даешь!» и в конце концов разревелись бы в голос. Зная об этом, мама каждый раз терпеливо ждала, пока они заснут. Сесили, свернувшись калачиком, тихо дремала у нее на коленях, а Мэри и Бэт перед сном еле слышно ворочались и вздыхали, отчего язычок свечи то и дело подрагивал в темноте. Терес в ту пору было шестнадцать, а мне четырнадцать, и мы уже могли выбирать: остаться ли в нижней комнате, чтобы спокойно читать в тишине, рисовать или просто смотреть на огонь в очаге, либо подняться по лестнице с остальными, чтобы при свечке сидеть рядом с мамой и слушать ее колыбельные.

Терес чаще всего оставалась внизу, а я поднималась наверх вслед за мамой и долго лежала в постели, сонно глядя на крохотный огонек, трепетавший от каждого сквозняка, отчего на потолке шевелились и путались тени. До-

ждавшись, когда все стихнет, я говорила шепотом:

— Мам, расскажи что-нибудь.

В этом возрасте меня одолевали вопросы, поиски смысла жизни. Беспечные радости и нехитрые горести детства затерялись в прошлом, оставив после себя пустоту и голод познания, который, похоже, ничто не могло утолить. В школе я чувствовала себя невидимкой, просто одной из множества. Там мне, конечно, могли объяснить теорию относительности и позволяют ли нормы современного английского языка вставлять слова между частицей «to» и относящейся к ней неопределенной формой глагола. Что же касается бездны одиночества и безотчетных желаний, открывшейся вдруг во мне, то, казалось, никто бы не пожелал даже выслушать мой вопрос, не говоря уж о том, чтобы на него ответить. По воскресеньям я посещала церковь, слушала все, что там говорили об Иисусе, и верила каждому слову. Правда-правда! Вот только где найти человека, подтверждающего эти истории своей жизнью? Я начала разочаровываться.

Мою пятнадцатую весну понемногу сменяло лето; мне было интересно, встречу ли я

когда-нибудь того, кто будет открыто смотреть мне в глаза, извиняться всерьез, а не в шутку, плакать и не стесняться слез, спорить, ссориться — и все равно оставаться близким? Что же до слова «любовь»... над ним я только хихикала. Хотя именно любви моя душа жаждала до боли.

Возможно, мама все понимала. Наверное, она разгадала то, о чем я не говорила, в чем не признавалась даже самой себе, и поняла, что я отчаянно искала чего-то большего, чем улыбки, шуточки, банальность и легкомыслие. Меня занимал вопрос, а бывает ли так, что протянешь руку во мраке — и другая рука не отдернется, не оттолкнет, не останется равнодушно лежать, а ухватится за твою?

Все-таки жаль, что вы не знали моей мамы. Не слышали, как она рассказывала свои истории тихим, задушевым голосом. Хотелось бы мне совершить чудо — перенести вас в нашу комнату, озаренную огоньком, колыхавшимся от дыхания сонных детей, когда мама вдруг населяла ее людьми из далекого прошлого с их странными, необычными судьбами. Еще мне хотелось бы вспомнить в подробностях каж-

дый ее рассказ, но ведь с тех пор миновали годы и многое позабылось.

И все-таки я записала для вас часть маминых историй. Если выпадет тихая минутка, когда мысли стремятся на волю, прочь от суеты прошедшего дня, — прочитайте их. Я слушала их, когда мне было пятнадцать лет.

Мама утверждала, что все это — чистая правда. А я не помню такого случая, чтобы она соврала. С другой стороны, кто знает, что именно мама считала «правдой»? Иногда это слово и не имело отношения к фактам...





Глава вторая



Отец Колумба

— Когда я сама была девочкой, чуть помладше тебя, — начала мама, — мне рассказывала истории моя прабабушка (ее звали Мелисса, как и тебя). Чего только я от нее не узнала — о дядях, кузенах или, например, о двоюродной бабушке Элис, которая жила в каменном домике в Белл-Баске, в Йоркшире. Вокруг были точно такие же домики — с той разницей, что своей она — уже старенькая художница — расписала всеми цветами радуги. А еще у нее была утка с четырьмя ногами, и прабабушка Мелисса водила меня поглазеть на это чудо природы. Тогда же я узнала, как одного из моих дальних

предков младенцем нашли на пороге, в хозяйственной сумке. О том, как пес моего кузена по кличке Расс откусил целый палец певцу рождественских гимнов; и как бабушке пришлось прогнать свою собаку, которая из любви к хозяину передушила за ночь двадцать соседских кур и разложила добычу перед его крыльцом. Рассказывала прабабушка и о том, как они с сестрами прокалывали друг дружке уши при помощи швейной иглы и пробки, а в рот в это время запикивали смятый носок, чтобы не закричать от боли и чтобы матушка не узнала, чем занимаются ее девочки.

Каких только историй я не наслушалась, и все они были про нашу семью. Но больше всего мне полюбились те, в которых речь шла о монастыре давно минувших времен. Вот уже семь веков их передавали от поколения к поколению. Когда-то давно их рассказывал очень и очень мудрый дядюшка Эдуард, доживший почти до ста лет. На закате дней, когда его синие глаза потускнели, кожу избородили морщины, а голова облысела, за исключением пары жидких седеньких прядей (хотя усы продолжали расти исправно, не говоря уже о невероятно кустистых бровях), дядюшка Эдуард

любил развлекать историями своих гостей, среди которых была и его двоюродная внучка — тоже Мелисса. Благодаря ей эти рассказы так и пошли из рода в род; вот и моя прабабушка на склоне лет передала их мне, а я — тебе.

Дядюшка Эдуард провел свою жизнь как нищенствующий монах ордена благословенного Франциска Ассизского, странствуя по английским графствам и проповедуя людям Евангелие. Но годы шли; к шестидесятой весне он ощутил, что пора бы уже где-то осесть. Итак, после сорока лет подвижничества дядюшка присоединился к общине бенедиктинцев в аббатстве Святого Алкуина на окраине Йоркшира, вдали от родного дома, который остался в Или, в графстве Кембриджшир; впрочем, здешние места точно так же продувались насквозь ветрами. Брат Эдуард сделался инfirmарием — то есть взял на себя заботы о заболевших монахах, так как за годы странствий с братьями-францисканцами набрался неоценимого опыта по части исцеления разных болезней. Он был весьма искусен в приготовлении питательных отваров и припарок, травяных бальзамов, настоек и ароматических масел, умел ловко вправить кость или залечить

рану. Словом, примкнув к общине Святого Алкуина, дядюшка принялся опекать стариков и больных в согласии с Уставом святого Бенедикта.

В 1303 году, когда брату Эдуарду исполнилось шестьдесят шесть лет, четыре из которых он к тому времени провел в аббатстве, их старый добрый аббат, отец Грегори Воскресение, мирно почил во сне с улыбкой на устах, пресыщенный днями, и с радостью отошел в уготованный ему благословенный покой. Его уход опечалил братьев, ибо он управлял ими с кротостью, пользовался большим уважением и, сочетая милосердие со справедливостью, знал, как пробудить в своих подопечных все лучшее и направить их к жизни, исполненной труда и молитвы. Более всех сокрушался отец Чад, приор, второй по старшинству после аббата-настоятеля, — ведь теперь, вплоть до появления нового аббата, именно на его плечи должна была лечь ответственность за общину. Между тем отец Чад был застенчив, тих и немногословен. Кроткий молитвенник, он мало годился для этой должности, никогда не понимал, за что его выбрали приором, а теперь и вовсе ужасался великому бременю, сваливше-

муся на него. С тихим вздохом сожаления он покинул уютную келью, прогретую теплом от камина в соседней обогревательной комнате, и переселился в положенные ему просторные покои, где гуляли вечные сквозняки. Денно и ночью возносил отец Чад молитвы о том, чтобы новый аббат появился скорее, но только чтобы это место ни в коем случае не досталось ему самому.

Такое было в порядке вещей — когда умирал настоятель, братья избирали нового из своей среды. Однако, хотя вся община ревностно молилась, а старшие отцы проводили долгие часы, совещаясь и усердно размышляя, они вынуждены были с неохотой признать: в аббатстве Святого Алкуина нет человека, наделенного необходимыми качествами, чтобы занять место отца Грегори. Итак, им пришлось обратиться к епископу с просьбой прислать им аббата из числа братьев какого-нибудь другого монастыря, — разумеется, пообещав подчиниться его выбору и смиренно принять любого назначенного им руководителя.

Вскоре стало известно, что епископ собирается лично представить нового главу общины.

Возвращаясь в Нортумбрию из Лондона, где у него была встреча с королем, он решил навестить монастырь и заодно привезти своего избранника.

Братия пришла в неопиcуемый восторг — все, за исключением объятого трепетом отца Чада, которому предстояло принимать за столом не кого-нибудь, а епископа и аббата! Дядюшка Эдуард подбадривал его как умел:

— Храбритесь! Не падайте духом! Единственный вечер — и все будет позади. Вернетесь вы в вашу теплую келью, а этот студёный сарай оставите новичку, помогай ему Бог. Скажите, епископ ведь упомянул его имя? Да?

Отец Чад бросил взгляд на письмо, хотя за утро перечитал его дюжину раз и выучил наизусть чуть не каждое слово, и на всякий случай провел пальцем под нужной строчкой.

— Вот... Отец Колумба, сублиор из монастыря Святого Петра, близ города Или. Больше епископ о нем почти ничего не пишет. Поживем, увидим.

— Или? Я родился и вырос на тех болотах. Мой племянник принял сан в монастыре Святого Петра. Интересно... Постойте-ка, вы ска-

зали, Колумба*? Ну, нет, этого парня никто бы в здравом уме «голубем» не назвал...

— Не хотите ли отужинать с нами, когда придут гости? — спросил отец Чад как можно более равнодушным тоном.

Однако Эдуард сумел различить в его голосе нотки нарастающей паники.

— Почту за честь. Надо будет поторопиться, чтобы управиться с делами пораньше. Отца Лукана снова мучают боли в плече и шее. Посижу с ним, сделаю ароматическое притирание, оно чудесно ему помогает.

С этими словами брат Эдуард не без труда поднялся и побрел через пустую и неуютную комнату к тяжелой дубовой двери. На пороге он помедлил и оглянулся. Отец Чад по-прежнему сидел в солидном резном кресле, угрюмо глядя на исписанный лист бумаги, лежащий перед ним на огромном и внушительном столе.

— Даже самые трудные дни когда-то заканчиваются, — сказал ему в утешение брат

* Колумба — от *лат.* *columba*, что значит «голубь». — *Примеч. ред.*

Эдуард. — Опомнитесь не успеете, как уже все будет позади.

Шагая к лазарету, он с радостью размышлял о том, что одним из первых сможет увидеть нового аббата.

— Колумба, — задумчиво проговорил Эдуард, прислушиваясь к новому имени. — Колумба... Ирландец, что ли? Посмотрим.

Когда человек становится частью монастырского братства (так объяснила мне моя мама), то порывает с миром и всеми его путями, чтобы с чистого листа начать совершенно новую жизнь, посвятив себя Господу без остатка. При этом он дает три обета: бедности, чтобы уже никогда ничего не считать своим; безбрачия, чтобы не жениться и не заводить подружек, но видеть во всякой женщине родную сестру, а в мужчине — брата; и, наконец, обет послушания, чтобы подчиняться аббату общины и повиноваться каждому его слову. Приняв на себя первые обеты, после шести месяцев послушничества брат получает монашеское облачение — длинную тунику (черную у бенедиктинцев) с широкими рукавами, кожаным поясом и отдельно сшитым остроконечным капюшоном.

В знак того, что прошлое уже не имеет власти над ним, монах, словно рожденный заново, получает от аббата другое имя. Чаще всего тот старается выбрать что-нибудь напоминающее о характере или жизненных обстоятельствах подопечного. Дядюшка Эдуард, к примеру, получил свое имя еще во младенчестве, в честь доброго и святого короля Эдуарда Исповедника; когда же он присоединился к общине, аббат не стал менять его имя, сказав, что нельзя и надеяться превзойти короля Эдуарда в его преданности Иисусу Христу. И вот теперь епископ собирался привезти кого-то, названного Колумбой в честь одного ирландского святого. А голубь — это воплощение нежности, доброты, простоты, и к тому же — символ Духа Святого.

После вечерни брат Эдуард с нетерпением поспешил в настоятельские покои, чтобы скорее встретить высоких гостей, приехавших час назад и разместившихся в странноприимном доме.

— Так-так! — пробормотал он, едва новичок появился на пороге.

Они не виделись много лет, но это был, без сомнения, сын его сестры Мелиссы.

«Колумба, надо же! — мысленно усмехнулся инfirmарий. — Кроткий и нежный голубь? Ни за что не поверю...»

И в самом деле, новый аббат — а Эдуард знал его с ранних лет — совершенно не походил на голубя. Его покойная мать была гордой и знатной женщиной, отец — богатым, властным нормандским аристократом, который напоминал сокола и выразительным профилем, и особенной хищной хваткой. Когда родился их сын, мать посмотрела на его загнутый вроде клюва нос, на сверкающие темные глаза, столь необычные для румяного младенческого личика, рассмеялась и назвала его Перегрином*. Она не ошиблась: мальчик и впрямь рос похожим на птицу-охотника — свирепым, надменным, заносчивым. А его пронзительный взгляд и нос, похожий на клюв... Прабабушка Мелисса утверждала, будто бы я пошла в него, и это спустя столько лет, представляешь!

У Перегринна было два старших брата. Первенец, Жоффриу, взял на себя заботу о земле и скоте в отцовском поместье. Средний, Эмма-

* Перегрин — от *англ.* peregrine, что значит «обыкновенный сокол, сапсан». — *Примеч. ред.*

нуэль, подался в солдаты. А Перегрин, самый упрямый, самый лютый из них, внезапно поразил всех, подарив свое непокорное, гордое сердце Иисусу Христу, отвернулся от мира и примкнул к бенедиктинской общине аббатства Святого Петра неподалеку от Или.

Конечно же, одно дело — любить Христа, и другое — следовать за Ним; бедность, безбрачие и повиновение шли Перегрину ничуть не более, чем власяница послушника. И все-таки братия сочла его небезнадежным. Было трудно, но молодой человек продержался ровно год (причем почти на одном только упрямстве), после чего наконец принес обеты и стал братом Колумбой. Одно из двух: либо у его аббата было странное чувство юмора, либо вообще никакого, а лишь огромная вера, непостижимая для большинства людей.

Усердный ученик и благочестивый монах, Перегрин через некоторое время был рукоположен в священники. Вдобавок он показал себя блестящим философом и, кроме того, унаследовал отцовскую деловую смекалку и явные лидерские качества. Да, Перегрин был не особенно популярен из-за своей резкой

прямоты и честности: братья видели в нем слишком мало доброты и сострадания. Постоянная самодисциплина, стяжание интеллектуальных и духовных богатств, к которым брат Колумба так ревностно стремился, отнимали все его силы, не оставляя возможности научиться тонкому искусству любви, не говоря уж о том, чтобы принимать ее от других. Но все же его способности оценили по достоинству и, хотя Перегрин не завоевал особых симпатий, доверили несколько ответственных постов.

Когда епископ поинтересовался в общине Святого Петра, не найдется ли среди братьев человека, достойного возглавить монастырь Святого Алкуина, ему сразу же назвали имя отца Колумбы, недавно избранного субприором. Так на сорок пятом году своей жизни Перегрин сделался господином аббатом и прибыл на север Йоркшира.

Довольный советом, епископ не сомневался в выборе.

Аббат общины Святого Петра, знавший своих монахов лучше, чем те знали себя сами, так и сказал ему: «Этот брат беспощаден к себе, да

и подопечным спуску не даст. Таким уж он уродился. Но зато справедлив, неизменно вежлив и весьма проникателен: никому не позволит водить себя за нос. Держится особняком. Иногда я думаю, не одинок ли он? Трудно сказать. Французский дворянин, что с него возьмешь? Строг, суров и учтив. Его отъезд не разобьет наши сердца, и все же в каком-то смысле мне жаль терять этого человека. Отец настоятель Колумба... Да, ему это подойдет».

Итак, епископ доставил Перегрину в аббатство. Брат Эдуарда сочувственно улыбался, наблюдая за тем, как приор приветствует их обоих. Ногти отца Чада были обкусаны до мяса, а его левый глаз нервно задергался, когда настало время приветствовать высоких гостей целованием мира и приглашать к столу. Старшие члены общины, как и капеллан епископа, присоединились к ужину.

Смешавшись с остальными, брат Эдуард внимательно наблюдал за своим племянником. При встрече тот радостно обнял родного дядю, сверкнув живой, как в детстве, улыбкой приятного изумления, и его лицо озарилось неожиданной теплотой.

Теперь же, когда отец Колумба невозмутимо вел беседу за ужином, словно не замечая обращенных на него взоров, брат Эдуард задумчиво следил за его поведением. Пронзительные темные глаза, сверкающие умом, напряженная сдержанность в каждом движении, нетерпеливые жесты...

«Весь в отца, француз до мозга костей, — думал Эдуард. — Анри тоже „говорил руками“. Вот и сынок вырос его копией — такой же властный, привыкший повелевать. Колумба, надо же! Разве не могли оставить его Перегриномом? Да уж, нечего сказать... Бедный старина Чад. После аббата Грегори эта замена станет для него настоящим потрясением».

Наутро он, как обычно, был в лазарете — помогал престарелым братьям стелить постели, умываться и бриться, а сам то и дело прыскал в кулак. Его помощник брат Джон полюбопытствовал, над чем он смеется. Эдуард поведал о том, как его племянник с детства рос Перегриномом — хищной птицей, а теперь стал Колумбой — голубем. Такое несоответствие заставило усмехнуться и брата Джона. Вскоре шутка облетела всю общину; нового аббата

стали величать за спиной отцом Перегрином, и только в глаза или при посетителях — отцом Колумбой.

Вообще же он показался братии аббатства Святого Алкуина весьма нелюдимым, холодным в своей учтивости, которая особенно неприятно поражала теперь, когда еще свежа была память о доброте и великодушии отца Грегори. Начальственный вид и повадки аристократа отпугивали людей, но в то же время заставляли робко гордиться им.

Новичок показал себя хорошим и сведущим в своем деле аббатом. Монастырем управлял справедливо и честно, общину держал в почтении и верности; впрочем, никто и так не дерзнул бы оспаривать его авторитет.

Минул год, и братья стали привыкать к новой власти. Прошел еще один, и многие почти позабыли, что раньше было иначе. Близилось время Пасхи, величайшего праздника для христиан, и местные жители начали стекаться к аббатству; дом для гостей был забит пилигримами, желающими отметить Воскресение Христа. Сколько людей, сколько торжественных процессий! А сколько музыки! Так много

требовалось подготовительной работы с певчими и чтецами, служившими у алтаря и в странноприимном доме, не говоря уже о тех, кто трудился в кухне и на конюшнях! Аббатство кишело гостями, соседями, родственниками монахов и разного рода посетителями.

Дивным было таинство пасхальной заутрени, когда благословляли огонь и воду. Потом среди сумерек под огромными сводами монастырской церкви ярко вспыхнула пасхальная свеча. Исполненный радости голос брата Гилберта, регента хора, возносился в торжественно-прекрасном гимне *Exultet* («Да возрадуется»); все колокола звонили во славу Господа, и хор мальчиков из монастырской школы воспевал воскресение Иисуса так, что сердце таяло от умиления. День выдался необыкновенно солнечным, просто сияющим, точно по заказу — для праздника.

О, как радостна и великолепна церковь, наполненная людьми, оглушительно поющими *Credo* («Верую»)!

Брат Томас, которого остальные послушники звали просто «брат Том», всего две недели назад принявший на себя первые обеты, стоял

ни жив ни мертв от восторга, так потрясла его красота богослужения. В общине он провел пока не более полугода, считая с осени 1305-го. Как только весь урожай был сжат и надежно убран в закрома, его отец — крупный, здоровый и краснолицый мужчина, урожденный йоркширский фермер, сам привел сына в монастырь. Мать осталась дома в слезах — Томас и его брат были радостью ее жизни. К тому же без крепких сыновних рук дела на ферме могли пойти наперекосяк. Однако Господь Сам решает, кого призвать, и родители парня, оба благочестивые христиане, с уважением отнеслись к желанию Томаса попробовать себя в религиозной жизни.

Трепеща от благоговения, вошли эти двое мужчин через маленькую калитку, прорезанную в массивных воротах монастыря. Брат Киприан, старенький привратник, радушно поприветствовал гостей и быстро привел их в чувство любезными разговорами, вызвавшись сопроводить к настоятельским покоям. Резкий йоркширский акцент привратника плохо гармонировал с общей торжественной атмосферой.

— Отца аббата бояться не надо, мальчик. Он человек непростой, но все равно хороший. Отвечай ему сам, никто тебя не укусит. Сюда, здесь наша трапезная. Через эту дверь — и в часовню, ага... Ну, вот мы и пришли, тут и обитает отец аббат.

Сильнее всего в память брата Томаса после той первой встречи с Перегрином врезались темно-серые глаза, словно читавшие его мысли как в открытой книге, и быстрые, красноречивые жесты; и то, как отец аббат задумчиво барабанил пальцами, оценивая взглядом нового послушника. Вся его жизненная сила, неистощимая энергия, казалось, сосредоточились в этих длинных, сильных и неутомимых пальцах. Томас заворожено следил за ними, украдкой поглядывая на собственные широкие, мозолистые ладони, успевшие к девятнадцати годам загубеть от работы, по крестьянскому обыкновению неподвижно лежавшие на коленях.

Тем временем отец Тома и аббат говорили о нем.

— ...И вы можете себе позволить отпустить его с фермы? — испытующе спрашивал Пере-

грин. — Только два сына, так, кажется? Вы готовы лишиться одного из них?

Крестьянин посмотрел собеседнику прямо в глаза:

— Понимаете, этот на земле работать не сможет. Ни утешения от парня, ни пользы, пока его сердце не с нами. Пусть попытает удачи. Не удивлюсь, если его запала надолго не хватит. Есть он привык за десятерых — сами взгляните, парень-то крепкий, как дуб, и брат у него такой же; да и девчонки по нему сохнут. Честно сказать, я не могу себе представить, чтобы мой сынок смиренно помалкивал или четки перебирал на коленях. У вас тут есть братья тихие да покорные, словно девицы; мой Томас таким никогда не будет. Но пусть попробует, раз уж ему загорелось. Если не выйдет толку — мы с матерью всегда примем его обратно.

Это была самая долгая и прочувствованная речь в жизни фермера. Покончив с ней, он достал из кармана платок и утер со лба капли пота. Улыбка чуть тронула губы аббата. Его позабавило описание монахов его общины. Пeregрин и сам, бывало, срывался на слишком уж безропотных. Теперь настоятель обратил

свой взор на молодого человека, и тот не отвел глаз, хотя в душе ощутил укол обиды; казалось, его разглядывали свысока и с усмешкой, словно человека низшего сорта.

«Он думает, я деревенщина и ни на что не способен», — Том уже начинал про себя сердиться.

— Что скажешь, сын мой? — проговорил Перегрин. — Похоже, отец не очень-то верит, что ты здесь задержишься. Жизнь у монахов нелегкая. Может, еще изменишь свое решение? Я не стану думать о тебе хуже.

Холодный насмешливый голос аббата уязвил самолюбие брата Томаса; правильная речь образованного человека, да еще и с легким французским акцентом вызвала в нем раздражение, и послушник выпалил с жаром:

— Это точно, мой господин, мне тоже кажется: хуже — уже не станете. Я же простой работяга, а не из ваших.

— Ах, ты..! Ну-ка! — попытался усюветить сына отец. — Знай свое место, мальчишка! Помни, с кем говоришь!

Однако аббат не повел и бровью, только гораздо серьезнее посмотрел на юношу:

— Так как же? Намерен ли ты остаться с нами?

— Да, господин мой.

Теперь, омытый солнечным светом и пасхальной музыкой, возносящейся к небесам, брат Томас ощутил уверенность, радость, умиротворение до самых глубин души.

Все правильно, именно здесь его место.

«Credo in unum Deum — Верую во единого Бога — о, да!»



Утром в пасхальный понедельник многие гости начали разъезжаться. Все сновали туда-сюда, седлали коней, прощались... Было почти невозможно найти нужного человека или добиться толку в каком-либо деле. В монастыре царила полная суматоха. После вечерни, когда солнце уже клонилось к закату, брата Эдуарда послали с сообщением к отцу Мэтью, наставнику послушников.

Эдуард вошел в огромную монастырскую церковь, устало думая, что это его последнее поручение на сегодня; потом можно будет

перекусить вместе с братьями и сразу после повечерия отправиться спать. Он почти не сомневался, что найдет отца Мэтью в ризнице, примыкающей к хору, где тот проверял, как брат Томас подготовил сосуды и облачения для утренней мессы, а также хлеб для причастия и отметил в Библии нужные места для священника.

Брат Эдуард решил сократить путь и пройти через придел Богоматери. Несмотря на вечерние сумерки, шел он быстро — и потому, что спешил, и потому, что ориентировался здесь, как у себя дома, словно при солнечном свете.

Целеустремленно шагая между рядами, Эдуард вглядывался перед собой, пытаясь различить в ризнице мерцающий свет, который указывал бы на присутствие отца Мэтью, когда нога неожиданно встретила препятствие на дороге, и брат Эдуард едва не потерял равновесие. Откуда-то снизу послышался глубокий, мучительный стон, какого не мог издать человек, а только животное или существо, угодившее прямо в адское пламя.

При этом звуке у Эдуарда на голове зашевелились волосы, тело покрылось гусиной кожей,

во рту пересохло. Наклонившись, он попытался всмотреться в сумерках и ощупать дрожавшей рукой темноту у себя под ногами. Однако едва лишь пальцы чего-то коснулись, как снова раздался этот ужасный, бессловесный вопль страдания. Потрясенный до глубины души, монах помедлил, затем решил пойти за подмогой и светом.

Протиснувшись мимо источника стога, он бросился в ризницу, где, как и ожидал, нашел отца Мэтью, раскладывающего облачения вместе с братом Томасом. Оба в изумлении воззрились на бледное, взволнованное лицо Эдуарда.

— Брат, ради Бога, скорее, — выпалил тот. — Огня! Идем!

Без лишних вопросов Мэтью схватил свечу, и они вместе поспешили обратно в придел Богородицы. Томас нерешительно тронулся вслед за ними, предчувствуя беду и не зная, ожидают от него помощи или, наоборот, невмешательства. Тут он заметил на полу ризницы темные пятна, оставленные сандалией брата Эдуарда, одно из которых — на пороге, сырое и липкое с виду, — слегка поблескивало.

Нахмурившись, Томас поднес к нему огонь.

— Матерь Божья, да это же кровь! — пробормотал он и со свечой в руке последовал за братьями.

Там они и нашли аббата Перегринна, избитого почти до неузнаваемости. Тело его было крепко связано, коленями к подбородку, а руки стянуты за спиной. На правой половине лица зияла рваная рана, обнажившая кость от виска и почти что до подбородка. Кровь из носа натекла ему в рот, мешаясь с кровью из рассеченной губы. Рядом на полу, в липкой багровой лужице, лежали два выбитых зуба.

Братья в ужасе переглянулись.

— Кто мог сотворить такое? — прошептал отец Мэтью.

Эдуард помотал головой:

— Столько было гостей, столько чужаков... Вы ничего не слышали в ризнице?

— Ничего, брат. Мы вошли всего за десять минут до тебя и никого не видели. Кто бы это ни был, он успел убежать, потому что...

— Ладно, ладно, — вмешался брат Эдуард. — Брат Томас, найди, чем перерезать веревки. Мой нож слишком груб для такой работы.

Томас, не сказав ни слова, бросился прочь. Брат осторожно ощупал спину и голову Перегрину, проверяя, не опасно ли будет переносить его.

Волосы аббата были мокрыми от крови, под ними обнаружилась большая упругая шишка, но в целом череп остался неповрежденным. Томас вернулся из кухни с маленьким, очень острым ножом, и Эдуард, склонившись, взялся за дело.

— Держи свечу немного повыше, Мэтью. Мне плохо видно... Ох, что это?!

Руки Перегрину, туго стянутые у него за спиной, были раздроблены, искалечены, сломаны, несообразно изуродованы, покрыты кровоподтеками. Эдуард аккуратно перерезал веревки. Раздвинув скамейки, братья осторожно положили аббата в полный рост, чтобы осмотреть тело.

— Ключица сломана. И два ребра здесь... Нет, три. Держи свечу ровнее, Мэтью, мне нужно проверить ногу. Нет, левую. Ага... Большая берцовая кость раздроблена, только взгляните. Ее уже никогда не выправить. И колено тоже. Братья, да что за адская тварь могла сделать

такое? И почему? Милостивый Боже, сколько жестокости! Ну, хоть все остальное цело. Брат Томас, беги в лазарет и попроси у брата Джона носилки. Мчи со всех ног.

Присев, Эдуард опустил глаза на недвижимое избитое тело:

— Мэтью, я ведь задел его ногой. Так торопился, что споткнулся о тело. Он застонал от боли — я в жизни не слышал подобного стога. Человек лежал здесь в таком состоянии, а я его пнул... Слава Богу, он еще жив, бедолага.

Томас вернулся в сопровождении Джона из лазарета. Вместе они как можно бережнее переложили тело на носилки.

— Осторожней с руками, брат. Думаю, их уже не выправить, главное — не повредить еще сильнее. Сложим ему ладони, вот так. А теперь аккуратнее...

Перегрину доставили в лазарет. Так и лежал он на койке трупом, не шевелясь, не открывая заплывших век, только дыхание клокотало в носу красными пузырями.

До самого рассвета брат Эдуард трудился над ладонями, превратившимися в кровавое

месиво. Он изготовил деревянные шины, сложил вместе обломки костей и перебинтовал их, с тяжелым сердцем думая о том, что эти руки уже никогда не смогут так же красиво писать, как раньше. Потом он собрал кости ноги, как мог, но та была не просто сломана, а раздроблена, и он сомневался, сможет ли эта нога когда-нибудь выдержать вес Перегринна. Сложив и перевязав ключицу и ребра, брат Эдуард промыл и перебинтовал другие раны, обработал мазями шишки и синяки, а места, где лопнула кожа, — травяными припарками. Потом долго трудился над изувеченным лицом.

Рассвет следующего дня застал брата Эдуарда молящимся на коленях; сделав все возможное, он передал пациента в руки Величайшего Лекаря, прося чудесного исцеления там, где его собственные навыки оказались бессильны.

Братья думали, что Перегрин не задержится на этом свете. По милости Божьей его череп и позвоночник остались целы, хотя напавшие явно бросили свою жертву умирать. Тем не менее избитый выжил, хотя и долгое время провел без движения, не подавая голоса, не в состоянии даже открыть глаза.

Брат Эдуард с братом Джоном беспрестанно сменяли друг друга у постели больного, а тем временем бремя ответственности за все аббатство снова легло на плечи отца Чада.

В первый же день Перегрину начали закапывать воду в рот при помощи мокрой тряпицы. Спустя еще двое суток, когда отеки немного спали, появилась возможность кормить его бульоном и поить подслащенным вином, тоненькой струйкой вливая их в щель между опухшими губами. Трудно было сказать даже, в сознании больной или нет: на расспросы он не отвечал и не реагировал. Однако с ним продолжали ласково разговаривать, объясняя происшедшее, даря слова любви и утешения. Перегрин принимал и бульон, и вино, что давало брату Эдуарду повод надеяться, однако не разговаривал целых трое суток. К этому времени опухоль рассосалась, лицо стало узнаваемым, несмотря на синяки и глубокую рану справа. Брат Эдуард боялся внутренних кровотечений, знаком которых могли быть ушибы на животе и спине, но моча только в первые два дня имела красноватый оттенок; видимо, органы оказались почти не задеты. Братья не пытались поднимать Перегрину, чтобы помочь ему

облегчиться, и его приходилось вытирать, как младенца.

Утром в четверг, по окончании утреннего умывания, больной впервые за эти дни подал голос.

— Спасибо, — проговорил он.

Как и все остальные братья, Эдуард не испытывал особенной нежности, а только уважение к суровому, не знавшему компромиссов аббату, даже несмотря на кровное родство между ними. Однако, ухаживая за искалеченным телом, денно и нощно сменяя брата Джона у постели больного и сражаясь за его здоровье в молитвах, он успел проникнуться глубоким участием к страдальцу.

Эдуарда захлестнула волна облегчения и нежности, когда, подняв голову, он встретил взгляд Перегринна. Наконец-то эти глаза открылись — и пустое, безнадежное, мученическое выражение быстро сменилось удивленным вниманием.

Этот человек был действительно поражен, обнаружив, что нужен кому-то. Эдуард навсегда запомнил изумление в глазах аббата, нашедшего любовь, которой он никогда не искал и не

добивался, но которую получил как дар на пике отчаяния и боли.

Ведь именно любовь помогла ему пережить случившийся с ним кошмар и свою беспомощность. Гордая, независимая душа Перегрина терзалась от унижения, когда его вытирали, точно грудного ребенка, или кормили с ложечки; мысли о предстоящих годах жизни с изувеченными руками и бесполезной ногой причиняли ему страдания. Аббат мало говорил и совсем не жаловался. Чаще всего с его уст слетало «спасибо».

Эдуард, знавший племянника с малых лет, догадывался о том, какие страсти бушуют под этой маской спокойствия и невозмутимости, поэтому во время служб всегда оставался с ним и беседовал о делах в аббатстве. Ночами он тоже тихо дежурил возле постели, пока Перегрин метался во сне, иногда просыпаясь в слезах от кошмаров. Эдуард не знал, чем еще ему можно помочь, как достучаться до этой скрытой души, исполненной ужаса, и утешить ее.

Как только больной начал принимать пищу, его стали сажать на постели, но продолжали кормить из ложки, которую не в состоянии

были держать искалеченные, перебинтованные руки.

Брат Эдуард спросил Перегринна, знает ли он, кто и почему обошелся с ним так жестоко, и тот ответил, что знает. Каждое слово давалось аббату с трудом:

— Много лет назад в поместье отца работал некий Уилл Годриксон. Ты его, наверно, не помнишь, Эдуард: в то время ты был с францисканцами. Однажды в пьяной драке он убил человека. Отец передал его в руки стражей закона; преступника повесили. Это был яростный, вспыльчивый до безумия человек. Когда за ним приехали, никто не мог его удержать. В конце концов убийцу связали, стянув руки веревками за спиной, а колени — у самого подбородка.

Двое его сыновей присутствовали при этом и все видели — два бедных, напуганных маленьких оборванца. Выросшие среди жестокости, они поклялись отомстить моему отцу, но возможность им так и не представилась. Если помнишь, он всюду ходил с крепкими слугами и при кинжале, которым отлично владел. И вот, похоже, до них дошли слухи, что сын

их врага обитает здесь, без охраны, доступный любимым посетителям. Думаю, парни явились сюда, смешавшись с толпой, и просто ждали своего часа.

Вечером я отправился в ризницу, но отца Мэтью там не было, и я пошел через придел Богоматери. Там меня и встретили. Наверное, проследили за мной до церкви. Я поздоровался с ними. Лица показались мне смутно знакомыми: парни выросли похожими на своего отца; впрочем, был полумрак, да и видел я их в последний раз еще маленькими детьми. Один из «гостей» держал в руках дубину. Странно? Да, но, с другой стороны, их обратный путь мог лежать через болота и дикие места. Они... они сказали... — Перегрин запнулся, закусил губу, попытался продолжить: — Я... они... — Тут голос его сбился на шепот; закрыв глаза, аббат покачал головой.

Эдуард мягко накрыл рукой его ладонь:

— Ничего, ничего, мой мальчик. Твое тело само за тебя рассказывает.

Другого рассказа никто так и не дождался.

Настал день, когда Перегрин оправился после случившегося, насколько мог, и снова был

готов принять на себя обязанности аббата. Ключица и ребра срослись хорошо, а вот нога, как и предсказывал брат Эдуард, навсегда осталась кривой и нерабочей. Поврежденная берцовая кость уже не могла выдерживать вес его тела, и все оставшиеся годы он проходил с костылем. Именно с костылем, а не с тросточкой, ведь, несмотря на все старания брата Эдуарда, изуродованные и скрюченные руки тоже так и не восстановились. Тогда, защищаясь от ударов дубинки, аббат вытянул их перед собой, а враги, повалив его на пол, в свирепой, слепой жажде мести били по ним деревянными каблуками своих башмаков — причем не единожды, но снова и снова.

Когда Перегрин впервые вернулся к братьям, они смутились, не зная, как его принимать. Им казалось, что прежнего аббата у них забрали, а вместо него появился другой человек. Привыкнув к властному, решительному аристократу с его быстрой целеустремленной походкой и нетерпеливыми жестами, община была поражена при виде изможденной фигуры, уродливого синевато-багрового шрама и невыразимой боли в помрачневших глазах. Руки его почти ни на что теперь не годились;

Перегрин не пытался их прятать, однако больше не жестикулировал при разговоре, они неподвижно лежали на коленях. По настоянию брата Эдуарда, каждый день он ходил в лазарет, где ему растирали кисти целебными ароматическими мазями, а потом помогали разрабатывать их.

Хотя вскоре аббат уже мог есть самостоятельно, пусть и медленно, с трудом, и даже писать, пусть с усилиями и кляксами, — но он больше никогда не засиживался до ночи за сочинением научных трудов, стихов или проповедей, а тем более не брался изящно оформлять монастырские рукописи. Он даже не нарезал сам себе еду и не шнуровал сандалий. Без ежедневной заботы брата Эдуарда его руки через некоторое время начинали напоминать скукоженные птичьи лапы.

Ходил Перегрин теперь медленно, неуклюже, хромя так, что больно было смотреть на него. Кое-кто из братьев сомневался, сможет ли настолько искалеченный человек продолжать исполнять обязанности аббата, однако ему все же дали шанс. Выяснилось, что и характер его переменялся до неузнаваемости.

Прежняя высокомерность и самоуверенность исчезли, теперь Перегрин с благодарностью и смирением позволял товарищам превращать для него страницы и нарезать за обедом еду. Постоянная необходимость в помощи, даже в самых обыденных делах, сблизила его с окружающими. Тихое «Благодарю тебя, брат» и искреннюю улыбку — вот что они получили взамен величавого человека, которого потеряли.

По рассказам дядюшки Эдуарда, мало кто из общины догадывался, чего стоило Перегрину показаться перед монахами медлительным, неуклюжим калекой. Одним из этих немногих был брат Томас. В тот вечер пасхального понедельника он помог перенести пострадавшего в лазарет, после чего удалился, ища уединения. Стоило ему закрыть глаза — перед ним возникало обмякшее тело, избитое до потери чувствительности, окровавленное, изломанное. Стоило их открыть — и взгляду представало тело другого Страдальца, распятого на кресте, который висел на стене. Неизвестно, что было хуже. В конце концов он опускал глаза в пол и сидел так, пока колокол не звал к вечерне.

Так было и сейчас — Томас машинально встал на ноги, дошел до часовни, неизвестно как досидел до конца богослужения и, не сказав никому ни слова (к счастью, настало Время молчания), вернулся к себе.

Той ночью он допоздна пролежал на своей неровной постели без сна, не в силах изгладить из памяти вид безнадежно истерзанных, раздробленных, опухших и кровоточащих ладоней. При одной мысли о них ему становилось худо. Брат Томас глядел в темноту, думая о хладнокровной выдержке отца Перегрин, представляя себе его решительное интеллигентное лицо, его пронзительные глаза, смотревшие почти с фанатичной пристальностью, его гордую статью, но чаще всего — подвижные, нетерпеливые, умные... ох, раздавленные каблуками руки. Что за безжалостность — просто мороз по коже!

Но даже леденящие кровь воспоминания не подготовили брата Томаса к перемене, которую он увидел в отце Перегрине, когда тот снова появился перед общиной. Эти мучительно-медленные движения... И куда же делась его высокомерная насмешливость? Ее словно и

не было никогда. Охваченный ужасом и жалостью, Томас не мог оторвать взгляда от искривленных, покрытых шрамами рук; аббат их не прятал, но и не «говорил» с их помощью, подстегивая собеседника, как бывало прежде. Теперь руки навсегда умолкли — впрочем, их молчание красноречивее всяких слов свидетельствовало о тайных страданиях отца Перегрина.

— Как он только все это переносит? — обратился брат Томас к брату Френсису, своему товарищу-послушнику, шагая с ним рядом в последний день апреля, когда отец Колумба снова официально возглавил аббатство. — Как?

Собеседник пожал плечами:

— Так же, как переносили бы ты или я, оказавшись на его месте. Может быть, все это кажется нестерпимым, но что еще ему остается делать?

Одной из первых нелегких обязанностей для отца Перегрина, вернувшегося к общине, была необходимость каждое утро проводить час чтений; во время такой встречи кто-то читал вслух главу из Устава святого Бенедикта,

после чего аббат обращался со словом к братьям и обсуждал с ними текущие дела. В тот год Пасха выдалась ранняя, ее отпраздновали двадцать шестого марта, а тридцатого апреля отец Перегрин впервые снова занял надлежащее ему место.

Джайлз, помощник травника Валафрида, раскрыл семьдесят вторую главу Устава и принялся читать с резким йоркширским акцентом.

— Как есть злая ревность, отдаляющая от Бога и ведущая в ад, так есть и добрая ревность, отдаляющая от пороков и приводящая к Богу и к вечной жизни, — уверенно начал он. — Сиюто ревность с теплой любовью должны являть монахи, то есть «честью друг друга большими себя творить». Немощи... — тут брат Джайлз осекся и покраснел от смущения, — ...немощи телесные и душевные друг в друге терпеливо сносить... — Сглотнув, он поспешно продолжил: — Друг друга предупреждать в послушании, не только смотреть, что себе полезно, но паче что полезно другому, взаимную чистую любовь друг ко другу являть, Бога бояться, аббата своего любить искренно и смиренномудро,

ничего не предпочитать Христу, Который всех нас да приведет к вечной жизни.

И в смятении опустился на свое место.

Аббат сидел, склонив низко голову, словно боялся обращенных на него взоров. Потом поднял истощенное, обезображенное шрамом и недостатком зубов лицо, обвел братьев темными, глубоко запавшими глазами.

— Библейский отрывок, приводимый в этой главе, взят из Послания святого апостола Павла к Римлянам, — промолвил он, — где сказано: «В почтительности друг друга предупреждайте», что означает — относитесь друг к другу с величайшим почтением... — Перегрин и сам плохо сознавал, что говорит, но все же сумел произнести спокойную, вразумительную речь на целых десять минут и провести остальную часть собрания.

С первой обязанностью он справился. Следующей на очереди была пастырская работа с братьями.

Аббат переживал за своих послушников. Конечно, он доверял наставнику, который их вразумлял и дисциплинировал, и все же они нуждались в возможности переговорить лично

с Перегрином, которой и так были лишены слишком долго.

После часа чтений аббат пригласил брата Томаса, чтобы обсудить его достижения и будущий род занятий. Это был их первый разговор с того вечера перед тем, как Том принял обеты послушания за две недели до Пасхи, и юноше стоило большого труда не показывать, насколько его поразила перемена, происшедшая с отцом Перегрином. Проницательные глаза настоятеля никогда раньше так на него не смотрели. В них не было ни отчужденной иронии, ни испытующего вызова, а только лишь... Том искал нужное слово... «кротость». Аббат держался по-прежнему прямо и властно, его оценивающий взгляд был так же проницателен, осанка внушительна, однако вид все равно изменился.

«Скорбь, это скорбь, — подумалось брату Тому. — Он полон ей до краев».

Перегрин о чем-то спросил, но юноша, не слушая его, нечаянно выпалил:

— Отец, я был там, когда вас нашли. Не могу позабыть тот вечер. Отец, мне ужасно жаль... ваши руки. Не знаю, как вы все это переносите. Может быть, я могу чем-то помочь?

Некоторое время аббат молча смотрел на него, и Тому сделалось не по себе: надо же, снова не хватило ума промолчать!

— Спасибо за беспокойство, сын мой, — ровно проговорил Перегрин. — Вспоминай обо мне в своих молитвах. Бывает... порой я и сам не знаю, где беру силы, чтобы держаться. Но наша беседа сейчас не об этом. Я спросил, если помнишь, все ли у тебя хорошо или есть какие-то трудности.

Как и предсказывал отец Тома, монастырская жизнь давалась парню нелегко. Хуже всего — с едой; нет, она была вполне вкусной, но... ох, какой скудной!

Перегрин сочувственно слушал рассказ о столь естественных малых потребностях молодого человека. Аббату нравился этот искренний юноша, нравился его вкус к жизни и прямая манера изъясняться. А кроме того, настоятель успокаивался, сосредоточиваясь на чем-то ином, помимо кошмарных воспоминаний и собственной отчаянной беспомощности.

Когда беседа была окончена и послушник ушел, Перегрин еще некоторое время сидел, размышляя о нем.

— Этот юноша, пожалуй, еще поможет мне сохранить рассудок, — сказал аббат сам себе. — Он прямо воплощение всего цельного, доброго и здорового.

Брат Том, в свою очередь, ушел опечаленным. Уже за дверью ему внезапно вспомнилась мама. Как аккуратно и осторожно она, бывало, шагала на маслобойню с чуть ли не до краев налитым кувшином молока, чтобы ни капли не расплескать...

«Вот и отец Перегрин, — промелькнуло в его голове, — так полон горем, что не позволяет себе расслабиться; боится его пролить. Ведь он же аббат, на кого ему опереться? Боже, храни эту бедную душу!»

Всю полдневную службу шестого часа и весь обед брат Том только об этом и думал. Поев, он отправился было из трапезной работать на огород, не прекращая печальных размышлений, но по дороге его окликнул монах Киприан, привратник.

— Брат, у меня там, в домике, — почта для отца аббата. Может, пожалеешь мои старые кости и отнесешь ему эти письма сам? А? Пожалуйста!

— С радостью, брат, — отозвался Том и пошел за привратником к его сторожке, подстраиваясь под медленный шаг старичка.

Потом они битый час просидели за разговорами. Брат Киприан был неиссякаемым источником историй о разных монахах прошлого и настоящего. Казалось, он мог рассказать буквально о каждом из братьев аббатства. При этом привратник не забывал об осторожности, не выдавал ничего такого, что смутило бы слушателя или бросило тень на чье-либо доброе имя, но даже подобная предусмотрительность оставляла ему большой простор для историй. Не замечая бегущего времени, пребывая в полном счастливом неведении насчет правила, запрещающего праздные беседы, брат Киприан проговорил бы до самого вечера, если бы Тома в конце концов не замучила совесть: ведь его еще ждал отгород.

— Добрый ты малый, спасибо. Тебе же все равно по дороге, правда? — сказал брат Киприан.

— Да, — улыбнулся Том.

Теперь — да. Хотя изначально он шел в противоположном направлении. Взяв письма,

молодой человек простился с братом Киприаном и двинулся через внутренний двор, через трапезную, мимо часовни, к покоям аббата. Дверь оказалась не заперта. Помедлив, брат Томас несмело постучал, потом толкнул тяжелую створку и вошел.

Отец Перегрин сидел в другом конце комнаты, явно погруженный в серьезные мысли. Перед ним на гигантском дубовом столе возвышался ворох манускриптов. Аббат не смотрел на них; не заметил он и вошедшего. Перегрин сидел сторбившись, уставившись мутным взором в пустоту, и не шевелился, разве что медленно повторял одно и то же движение — проводил по рту тыльной стороной ладони, покрытой шрамами; так малый ребенок смахивает хлебные крошки, прежде чем убежать на прогулку, или беззубый старик трясущейся слабой рукой утирает слюни с обвисших губ.

Это могла быть простая рассеянность, знак ухода в себя, однако Том продолжал смотреть и внезапно понял — да, понял с болью в сердце, — что медленный повторяющийся жест, нахмуренный лоб и сосредоточенный, но невидящий взор не имели ничего общего с обыч-

ной глубокой задумчивостью. Человек перед ним нестерпимо страдал. Потом аббат уронил руку на стол, уткнулся в нее лицом, не плача, почти не дыша, — и напряженно замер в безмолвном отчаянии.

К стыду своему, поначалу брат Том ощутил непонятную, беспричинную злость, которую выплеснул молча в одной короткой молитве: «Господи, ну и что же мне теперь делать?»

Было жутко неловко наблюдать беспомощность аббата, который держался на людях столь гордо и невозмутимо. Том уже собирался выскользнуть незаметно за дверь, когда совесть ему прошептала: «А если бы на его месте был я? Выжил бы я в одиночку?»

И все же — как тут вмешаться? Тихо-тихо прокрался он через комнату, положил рядом с книгами стопку писем и опустился на табурет, лицом к неподвижному человеку. Выждал минуту, облокотился на стол, положил подбородок на руку. Он хотел прикоснуться к страдальцу, но не посмел; хотел помочь ему выплакаться — и не имел понятия, как это сделать.

Наконец Тому опротивела собственная застенчивость и благоразумные опасения.

Природа взяла свое; порывисто, не размышляя, он протянул теплую ладонь и накрыл ею руку Перегринна.

Настоятель поднял изнуренное, в шрамах лицо и в беспомощном изумлении заморгал. Губы его шевелились, не издавая ни звука, словно Перегрин разучился говорить. Потом он вздохнул, улыбнулся и внимательно посмотрел на послушника.

— Прошу прощения, брат: не заметил, как ты вошел, — произнес аббат самым будничным и спокойным тоном. — Я могу тебе чем-то помочь?

— Вот это вряд ли, — брякнул ошеломленный Том. — Только не в вашем нынешнем состоянии.

Отец Перегрин открыл рот, потом закрыл, покачал головой, пожал плечами и ничего не сказал. А перед мысленным взором молодого человека снова ярко вспыхнула картинка из детства — мама, идущая к маслобойне тяжелой, опасливой поступью... «Одно неосторожное движение — и он разольет свою боль, — подумал брат Томас. — Клянусь честью, ему это ох как нужно».

— Может, если бы вы поделились со мной, отец... я бы как-то помог? — осмелился подать голос молодой человек.

Как же он корил себя за нерешительность и смущение перед лицом отчаяния, жестокую битву с которым пытался выдержать настоятель!

— Сын мой, благодарю за вопрос, — наконец произнес аббат. — Но только не по плечу тебе это бремя. — Голос его слегка дрожал (впрочем, как и все тело). Необходимость держать себя в руках сказывалась невероятным напряжением. — Прости за грубость, но если у тебя несрочное дело, не могли бы мы обсудить его позже?

Проще было бы сказать: «Конечно, отец, я все понимаю», — и удалиться в спешке; Томас и сам не понимал, откуда взялось дерзновение ответить:

— Вообще-то я уже не помню, зачем пришел. Но точно знаю, почему не уйду.

Не дав себе времени на размышления, повинуясь порыву, он вскочил на ноги и с усилием отодвинул огромный стол, закрывавший путь к настоятелю. Побледневший Перегрин смотрел на него круглыми глазами, в которых Том, не без укола жалости, заметил испуг.

Послушник схватил свой табурет, водрузил его бок о бок с креслом аббата, сел рядом и заключил Перегрину в объятия, ласково приговаривая:

— Все хорошо, расслабьтесь, не сдерживайте себя.

И тут же мысленно обругал себя дураком: ему показалось, что он обнимает деревянную статую. Но молодой человек не сдавался и не размыкал своих рук. Он молчал, только в голове у него крутилось: «А, двум смертям не бывать, одной не миновать! Ох, лучше бы мне уйти! Господи, хоть бы никто не вошел, не застал нас! Может, еще не поздно подняться — и к выходу...»

Однако мало-помалу крепость железного самообладания Перегрину стала рушиться, уступая место крепости нерушимых объятий человека, почувствовавшего к нему больше любви, чем благоговейного трепета. Аббат начал плакать, потом совершенно забыл себя и разрыдался от горя.

— Мои руки... — невнятно всхлипывал он. — Господи, как я теперь без них? Лучше бы просто умереть... но руки... о... о, Боже!

Дальше его слова утонули в потоках слез.

Что же мог предложить в утешение Том? Быть рядом, молчать, обнимать...

Настало время службы девятого часа. Размеренный звук колокола, всегда умиротворявший душу послушника, на этот раз неожиданно рассердил его. Служба? Что за пустяки! Тут человек утратил свои способности, независимость, чувство собственного достоинства — и какая-то служба должна помешать ему выплакаться?

Однако Перегрин сам высвободился из объятий и некоторое время сидел, вздрагивая, прерывисто переводя дыхание. Затем, достав из кармана платок, вытер слезы и высморкался.

— Если не ошибаюсь, сын мой, колокол только что прозвонил. Если опоздаю я — меня поймут и не потребуют объяснений, а вот если ты — сомневаюсь. Может, поспешишь к началу, чтобы избавить меня от разоблачения?

Настоятель не сумел бы яснее умолять послушника о молчании, но тот и так все прекрасно понял и никому не рассказывал о случившемся до самой смерти отца Перегринна.

Молодой человек вернул на место табурет и подвинул обратно громаду стола.

— Брат Томас, — задержал его уже на пороге спокойный голос аббата, — благодарю. Благодарю тебя от всего сердца, брат.

Это маленькое происшествие навсегда связало этих двух монахов живыми узами и зажгло в сердце Тома глубокое чувство любви к настоятелю, желание оберегать его. Что же до прочих братьев, Перегрин без слова сносил их любопытные взгляды, их жалость и явные сомнения в том, сможет ли он управлять ими дальше.

Но со временем всей общине стало яснее ясного, что природа власти аббата переменилась. Если раньше он держал монастырь в руках за счет естественных дарований и превосходства над людьми, то теперь научился уповать на Господню милость, черпая силу в ней.

И почитали его уже по-иному — с восхищением и любовью, ибо он на собственном опыте познал, что такое быть слабым, слабым настолько, чтобы нуждаться в помощи братьев, и это смиренное понимание стало основой его нового авторитета.

Дядюшка Эдуард еще немало рассказывал об этом человеке. По словам дядюшки, ужасное происшествие искалечило плоть, зато распрямило душу. Многие на его месте исполнились бы горечи и замкнулись, но только не Перегрин. Он использовал свою слабость как мост, соединяющий его с братьями, когда тем не хватало сил. Утратив все, что имел, он отдал Господу свой недостаток, и Тот превратил его в достоинство.

В каком-то смысле все эти истории сводятся к одному: к рассказу о том, как сила Божия в немощи совершается. Но перед вами еще и повесть о самой жизни; сумейте только ее прочитать.



Некоторое время мама сидела молча. Свеча почти догорела, в комнате было тихо.

— Ты спишь, Мелисса?

— Нет, мама. Я думаю о Томе. Какой же он храбрый, правда?

— М-м-м... Пожалуй. Он ведь не мог знать, как все обернется.

— А это имя — ну, то есть отец Колумба... Аббат и вправду стал кротким, как голубь?

— Да, в конце концов оно ему подошло. Правда, братья все равно продолжали звать настоятеля отцом Перегрином (разница в том, что теперь его не боялись так называть в лицо), а он по-прежнему мог проявить твердость, если это было необходимо.

Поутру мама раскаялась, что вообще начала рассказывать мне эту историю: ночью я стала кричать и метаться и перебудила всех, увидев во сне мрачных и беспощадных головорезов, которые равнодушно топтали изящные, но такие беззащитные против грубой силы руки, раскинутые в стороны на каменном полу часовни.



Содержание



Предисловие.....	5
Община аббатства Святого Алкуина.....	8
<i>Глава первая. Мама</i>	11
<i>Глава вторая. Отец Колумба</i>	19
<i>Глава третья. Пирог со смирением</i>	71
<i>Глава четвертая. Клэр де Монтани</i>	99
<i>Глава пятая. Линяющий сокол</i>	145
<i>Глава шестая. Жаворонок взмывает к небу</i>	169
<i>Глава седьмая. С кем каши не сваришь</i>	207
<i>Глава восьмая. Новое начало</i>	253
Словарь терминов.....	295
Распорядок дня в монастыре.....	298
Литургический календарь.....	300